



Андрей Битов:

Я пишу легко и набело. Работа для меня невыносима!

Домашняя правда. - 1994. - 159 эк. - с 3

Последние недели нахожусь под тягостным ощущением трех дней, проведенных в Праге с писателем Андреем Битовым. Битов был здесь на конгрессе Пен-клуба, он глава нашего российского Пен-центра, если, конечно, на днях его не переизбрали. Битова я не знала в лицо — да и кто знал? Он, как скорпион, просидел двадцать с лишним лет в тени под камнями задвижек и за претов, пока его не стали забывать даже те «интеллектуалы», которым о Битове помнить было вроде как престижно. Я попросила показать мне Битова, и мне показали на ОТДЕЛЬНО стоящего среди пестрой и шумной писательской толпы ужасно бледного человека с неприличной тоской в глазах и несмыслаемым клеймом аристократического прошлого. Битов был довольно набрежно одет и казался абсолютно чужим на этом празднике жизни. Видимо, именно так выглядит одинокий волк, израненный тяготами волчьей жизни. Ничего общего с автором потрясших когда-то мое читательское воображение «Уроков Армении» —

этой светозарной оды к радости — в указанном мне человеке не наблюдалось. Только спустя три дня названного мною ему (в силу моих профессиональных обязанностей, опустим в сторону личный интерес!) общения, штукатурка первых впечатлений начала оссыпаться: Битов рассказывал о потрясающих выигрышах в казино, ел рыбу, покупал подарки сыну, смеялся и был абсолютно жив.

— ...Я никогда не читал газет, журналов и не слушал «голосов». Таким образом я прожил свою жизнь невинным. Когда мне, наконец, дали дышать — а мне дали дышать в 86-м, — то все это было уже поздно. Когда осенью 86-го меня, наконец, выпустили за границу, когда мне объявили гласность и стали печатать все, что я написал, — я в себе ощутил опоздание. Ну это как пропущенное образование... Я сейчас вдруг подумал о шестидесятиниках, которых все сегодня пинают, подумал: они вдохнули рано, а выдохнули поздно. А это называется асфиксия. Неплохая, да формула? Отсюда — задержанная мо-

лодость. Лидия Яковлевна Гинзбург, замечательная питерская писательница, как-то сказала: молодежки неосуществленные люди... Вы, говорит, видели когда-нибудь великую фигуру в молодежном облике? Помните зрелость русской классической литературы? Чехов умер молодым человеком — это девушка Чехов, да? А Лермонтов, Пушкин, Гоголь?.. И если уж себя ориентировать на классику — а я-то себя ориентировал на классику, как-нибудь подсознательно! — то я уже пережил всех, кроме Льва Толстого, которого мне и переживать неохота!

— Ну вы-то не выглядите молодо. Разве что — неосуществленно... За какие преступления вы так долго лежали на дне?

— У меня было три преступления: выпуск романа за рубежом в 78-м. Участие в альманахе «Метрополь» в 79-м. История с пропавшим на Западе братом — в 82—83-м (эту тему я бы сразу просил считать закрытой). Видите, все грехи шли подряд.

— Если можно, по порядку. Сколько лет вас не печатали?

— Я бы сказал иначе: меня вечно печатали задним числом. Возьмем мой «Пушкинский дом»: я начал его в 64-м. В России он вышел — в 89-м. Между датами — четвертак. А «четвертак», если вы знаете, это была, по Сталину, мера, заменяющая расстрел. И когда «Пушкинский дом» вышел, я себе сказал: вот это тебе замена расстрела. Или, как Мандельштам говорил: прививка от расстрела! Так вот, вернемся к преступлению номер один: «Пушкинский дом» в 78-м вышел в Штатах. И это было и к трепету моему, и к стра-

ху — я вовсе туда не рвался.

— А как же он туда попал?

— Ну это сложная история. Теперь уже могу сказать правду: я разрешил его напечатать. А тогда я сказал, что он уплыл — это же было время самиздата, шли бесконечные распечатки... И это «уплыл» было полуправдой и полуложью.

— А что же было, кроме испуга? Помните, Михаил Зощенко написал про себя: «...писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации»?

— Что было? Было мгновение, момент истины: я взял в руки американскую версию — и открыл ее на опечатке. И вот когда я увидел, что они набрали опечатку! — то есть не только не изменили ни одного слова, но даже не тронули мою опечатку! — я понял, что это — все. С этого мига я стал свободным человеком. Страх исчез.

Потом был «Метрополь»... Подавление — это очень странный механизм, потому что он все время выступает автором успеха.

Что стало лично со мной? — а просто все закрылось вмертво: тебя нигде не выпускают, приглашения из-за границы не доходят, тебя никто не печатает, стало быть, писать незачем, стало быть, жить тоже особо незачем... Это ведь при Хрущеве так делалось: он посетит выставку, потопает ногами — и на следующее утро человек просыпается знаменитым. А потом стали душить по-хитрому, уже не так, чтобы сделать мучеником — а тихо, через писательскую организацию. Мне, например, сразу отказали в гонораре за книжку и за фильм: я не получил 10 тысяч рублей — это было серьезно! Фильм Анатолия Эфроса «В четверг и больше нико-

гда», снятый по моему сценарию, появился на экране всего один раз — и это был именно четверг! — и тут «голоса» сообщили о «Метрополе», и фильм убрали из проката.

Можно было, конечно, начинать диссидентствовать, приглашать иностранных журналистов, скандалить. Я не стал этого делать. Просто тихо пересидел...

— Вы не думали об эмиграции?

— Нет, для меня это всегда исключалось.

— Вы не были ни диссидентом, ни эмигрантом, но и в списках «действующей литературной армии» тоже не значились. Получается — были без вести пропавшим?

— Я хочу остаться в башне из слоновой кости, потому что она позволяет сохранить позицию. Я не хочу становиться учителем и гуру политиков, чтобы научить их словам. Я же всегда был в идеале чистым художником. Есть вещи, которые я не говорил не потому, что боялся их говорить, а потому, что, с художественной точки зрения, я считал это западно.

У меня нет целей внешних, социальных. Я очень асоциальный человек. Это потому, что я жил в семье, которая переживала советский строй, а не жила в нем. Может быть, эта изолированность и в творчестве привела меня к индивидуализму. В общем, я готов признать, что эта асоциальность уже является дефектом и болезнью.

— Во что вы верите?

— Я очень скромными рынками продвигался к вере, к Богу. Но как снизошло — я помню навсегда. Спускался в метро, шел в толпе. И вдруг меня охватил ужас. Множество людей и — полная бессмысленность жизни... Не в

вульгарном представлении, что могла бы быть лучшей жизнью: лучшей тем более бессмысленная! Господи, там, наверху, куда мы все лезем, настолько меньше счастья и бессмертия! Потому что всего себя человек тратит на путь, и ничего уже не остается. Стоить потом какой-то пустой мешок, а его поздравляют с успехом, с какой-то премией, со славой... Я думаю: а может, это и есть тот хитроумный инструмент управления миром? Как бы обмануть человека не теми ценностями, не теми стремлениями — и пока человек пойман в них, он — раб.

...Ну, в общем, я про себя произнес тогда, что жизнь бессмысленна — и это был первый шаг в веру.

— Вы когда-нибудь думали о том, сколько проживут ваши книги? Будут ли вас читать потом?..

— Я знаю, что меня читать можно будет всегда, то есть что мои тексты вне контекста конкретно этого времени.

— Но ведь славы, популярности — в мирском смысле — у вас не так чтобы и очень...

— Да, не так чтобы. Знаете, я вообще иногда удивляюсь, что я есть, что меня все-таки кто-то знает, кто-то переводит. Хотя когда я написал свой первый рассказ, еще в горном институте, то я подумал: ну вот теперь-то все поймут, кто есть я! А по телевизору меня впервые показали на мое 50-летие.

— Вас прочно отнесли к категории заумных, эстетствующих, а стало быть, ограниченных узким кругом читающих писателей. Это так?

— А у меня в общем-то и не было никакой аудитории, даже когда я выходил (издавался!) и меня читали — думаете, кто-то меня слышал?

Думаете, это был слух? Непрочитанное существовало всегда — аудитории не было никогда.

Одни пишут о людях и для людей, а я пишу о человеке и для себя. На самом деле я тоже пишу, конечно, для людей, иначе это не стоило бы просто ничего. У меня нет мании величия. Но во взаимоотношениях с людьми у меня все время происходит так, как будто бы я что-то недоисполнил. Вот взять мой отношения с женами — я уже третий раз женат! — ведь обычно люди в браке живут так, как будто бы они друг другу принадлежат. А я как бы жадничал. Но принадлежу я чему-то другому, я не понимаю, чему. Моя последняя вещь, она называется «Два человека» — по сути дела, о чудовищном одиночестве. Интеллектуальный детектив об одиночестве!

— Сейчас вас хорошо печатают?

— Да нет, у нас после 91-го опять это никому не надо. Во всяком случае, издательствам это не надо. Я издаюсь за границей, у меня с ними договоры. Вот в прошлом году десять месяцев прожил в Германии — там и писал. Собственно, уже три года не держал в руках наших денег...

— Вы трудно пишете?

— Я не люблю, когда преувеличивают тяготы писательского труда. Писанье для меня — счастье. Когда я пишу — я пишу хорошо, легко и сразу. Пишу набело. И это для меня не работа. Работа для меня невыносима!

На подаренной книге Битов написал: «Не принимайте депрессию — за истину».

Ольга ДМИТРИЕВА.
(Наш соб. корр.).
Прага.
Фото Олега КОРОЛЕВА.